

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 11

Кожинов и Бахтин (окончание)

В письме от 25 мая 1962 года Кожинов обратил внимание Бахтина ещё на две своих публикации:

“Читали ли Вы нашу тройственную статью в № 4 “Вопросов литературы”? и ещё мою рецензию на книгу Л. Пинского в № 5 там же?”

В 4-м номере журнала была напечатана статья Вадима Кожинова, Сергея Бочарова и Петра Палиевского о книге Владимира Турбина “Товарищ время и товарищ искусство” под разящим заголовком “Человек за бортом”.

Владимир Николаевич Турбин был человеком острым, интересным, оригинальным. В это время он вёл Лермонтовский семинар на филологическом факультете МГУ, о котором потом его бывшие студенты писали, как об “оазисе свободомыслия”. Чего-чего, а свободомыслия, нетривиальности, провокативности у Турбина хватало всегда (помню его уже в достаточно пожилом возрасте – создавалось ощущение абсолютной человеческой и интеллектуальной неизменяемости). В 1962-м Турбин приехал к Бахтину и стал, по собственному признанию, “его ординарцем”, заботясь о патриархе и устраивая его быт.

Турбинская книга наделала достаточно шума, многих привела в раздражение своим залихватским тоном и “прогрессистским” содержанием. Автор выступил таким неистовым апологетом “прогресса в искусстве”, что не вызвал соответствующей реакции его труд просто не мог.

Владимир Николаевич по-своему прочёл диссертацию Бахтина, посвящённую Рабле, и возжаждал “возрождения” средневековой карнавальности в современности. “...Книжка моя злополучная, – писал он Бахтину, – книжка о карнавальности искусства; только моцартианская разухабистость её упирается кое-где в заранее заданное сальерианство (здесь уже видны следы своеобразного турбинского прочтения пушкинского “Моцарта и Сальери”. – С. К.) Но Сальери иногда хочется казаться Моцартами – отсюда расплодившийся сейчас тип педанта, сюсюкающего о гуманизме и психологизме (очевидный намёк на авторов “тройственной” рецензии. – С. К.)... А Моцартам время от времени нравится работать под Сальери, например, мне кажется, что вся входящая сейчас в моду возня с семиотическим толкованием искусства является собою типичное моцартианство в сальерианских формах...”

...Пройдёт много лет. И, комментируя свою переписку с Бахтиным, Турбин не преминет, очевидно с немалой горечью, отметить: “...Монографию о

Рабле я прочёл ещё в её первоначальном виде, в машинописи... Я был зачарован ею и, подобно многим, простодушно бросился распространять её посылки и выводы на доступный мне материал. Какось, я был повинен в той вульгаризации и либерализации трактовки карнавальной культуры, которая, как сие ни печально, нет-нет да и сказывается поныне...”

Любопытно вчитаться в позднейшие дневниковые сентенции Георгия Гачева, для которого “статьи Турбина – тоник, в них стимулирующее воздействие”. И под влиянием этого “воздействия” уже совершенно в ином свете видятся “дела давно минувших дней”: **“Демократизм** – вот что противопоставил Турбин смолоду казённому тоталитаризму, что парил в официальном литературоведении 40–70-х годов... Как яркая личность и оригинальный ум и талант, он, естественно, вступил в бой с господствующей казёнщиной, и его “Товарищ время и товарищ искусство” расценивалась как “диверсия на идеологическом фронте” в 1962–1963 гг. – большой скандал и кипеж был по её поводу... Да и стал он герой поневоле, когда Социум на уровне секретаря ЦК набросился на его книгу “Товарищ время и товарищ искусство” в 1962–1963 гг. как на идеологическое обоснование модернизма и держался достойно...” Понятное дело – Гачев, в первую (и единственную) очередь, имеет в виду хрущёвского идеолога Леонида Ильичёва. Но удивительно другое: представители воинствующего “казённого тоталитаризма” философ Владимир Разумный и литературовед Иван Волков, обсуждая эту книгу на редакционном совете издательства “Искусство”, не скрывали своего восторга: “Это книга без наукообразности. В этом смысле Турбин – художник, он образно мыслит. Его книга – дерзкий прорыв”... “Главное положительное в этой книге – её творческий пафос, это не результат научного исследования, а художественного процесса мышления”... Как сообщил Турбин Бахтину в одном из писем, “пригласили меня давеча на одно совещание в ССП. И первым делом представили... Грибачёву – стало ясно, что затем и пригласили. И он увёл меня в уголок и – мир полон тайн и неожиданностей! – стал меня уверять, что он мою книгу читал “с горячим одобрением”, что он ею в общем-то упоён просто, что я пишу как раз так, “как сейчас нужно” и т. д.”... (Грибачёв для всего либерального сообщества – естественно и для литературоведов ИМЛИ – был, что называется, живым воплощением “тоталитаризма” наряду с Анатолием Софроновым и Михаилом Бубенновым, которые периодически поминались в публичных выступлениях и частных разговорах как “громилы” и “антисемиты”. Интересно, что в этом контексте никогда не упоминался Константин Симонов, громивший в конце 1940-х “космополитов” так, как не снилось никакому Софронову. Так же, как и ортодоксальный критик журнала “Октябрь” Соломон Марвич, в устном разговоре “озадачивший” Турбина своей высокой оценкой его книги. В то же время её категорическими противниками выступили декан филологического факультета МГУ Алексей Георгиевич Соколов и Сергей Михайлович Бонди, которых (во всяком случае, последнего) невозможно отнести ни к какой “господствующей казёнщине”.

Допустим, что ни о чём подобном – ни о разговорах в кулуарах, ни о выступлениях на закрытых совещаниях – Гачев не знал. Но о чём он не мог уж точно не знать (и о чём даже не вспомнил) – о “тройственной рецензии” своих друзей, не имевших, естественно, к “тоталитаризму, что парил в официальном литературоведении 40–70-х годов” никакого отношения.

Первым турбинское сочинение среди “триумvirата” прочёл Сергей Бочаров – он-то и подвигнул своих друзей написать коллективную рецензию. Сам он до этого выступал на обсуждении турбинской книги в Институте истории и теории искусства (там же выступал и Эвальд Ильенков, который, по словам Бочарова, “буквально размазал Турбина по стенке”).

В рецензии молодые люди вволю посмеялись над новейшим апологетом “прогресса”.

“...Книга эта, – писали они, – исполненная неудержимого энтузиазма перед научным и техническим прогрессом нашей эпохи и, кажется, вся настроенная на то, чтобы добиться такого же прогресса в искусстве и художественной мысли, стремится начертать этому прогрессу такие пути, которые, по нашему убеждению, привели бы искусство к пленению “законом тесным” и неотвратимому опустошению. И если бы нам удалось “окончательно сорвать с творческого вымысла мистические покровы”, как призывает В. Турбин, то каждый бы тотчас же заметил, что кто-то вдруг “как пленников, их обнажил”.

А отсюда был бы “обнажён” и принижен сам человек. Книга В. Турбина является в этом смысле настоящим манифестом, собирательной мыслью для всех тех “решительных” настроений, которые сопровождают быстрые успехи науки в наши дни и пробиваются то там, то здесь в виде насмешливого, спокойно-презрительного и сурового (ничего не поделаешь!) отношения к так называемым “недоказуемым” ценностям, “лирике”...

И ведь не скажешь, что “суровые критики” зачёркивали книгу целиком. Нет, они начали со “здорового и ценного, что есть во взгляде В. Турбина на искусство”... “С энергией и настойчивостью В. Турбин в своей книге подчеркнул содержательную, идеологическую значимость в произведении искусства его образного строения. Эту идею приходится оберегать от тех решительных выводов, до которых её доводит В. Турбин”... Наступает черёд перейти к критике “решительных выводов”.

“... О борьбе внутри образа В. Турбин нам рассказал затем, чтобы с этой борьбой покончить... И В. Турбин ополчается на наивную веру читателя: он вспоминает Настю из горьковского “На дне”... “Не было Гастона!” — повторяет вслед за Бароном В. Турбин. По существу, его позиция та же: разоблачать читательские иллюзии, доказывая, что “не было ни Гамлета, ни Евгения Онегина, ни Наташи Ростовской и даже Наполеон и Кутузов — совсем не “настоящие” полководцы, а, как это ни прискорбно, всего лишь гениальная имитация... Мы готовы признать за В. Турбиным превосходство генерала Настей в понимании сущности искусства. Но какое-то высокомерное это превосходство; а впрочем, так ли оно абсолютно? Мы начинаем чувствовать, что есть какая-то правота и на стороне бедной Насти, и что эту её правду надо защищать от Барона и от В. Турбина... “Когда ломают игрушки” — вот лозунг новой эпохи, которая наступает... в книге В. Турбина для искусства...”

И вот — игрушки сломаны. Дальше наступает очередь живой природы. И искусства в целом как такового.

“... Апологеты науки обидятся, узнав, что художники шли рука об руку с гениями науки, “сплошь и рядом опережая их”, а защитники “ветки сирени в космосе” явно не примут такого, например, пророчества Турбина о грядущей жизни: “Может быть, о розах не позабудут. Но не “обнюхивать” будут их, а исследовать. Изобретать. Конструировать...”... Очевидно, та же участь ожидает и сирень, и соловья, за которого беспокоился ещё Андерсен...”

И здесь мы подходим к самому главному. В. Турбин исходит в своей книге из того, что единственная, всепоглощающая конечная цель человека и человечества есть знание. Совершенное знание как таковое, наука сама по себе — это самоцель всей человеческой истории. Человек и все люди — только средство, орудие, рабы науки... Так мы узнаём о “Сикстинской мадонне”, что подлинный герой её — Бесконечность, новая идея пространства, предвосхитившая будущие открытия в физике, а не Богоматерь и Младенец: религиозные персонажи, религиозный сюжет — случайны, какая-то маскировка, позволившая живописцу обвести вокруг пальца “кардиналов и пап”, которые были, оказывается, “бездарнейшими искусствоведами” и отличались “тупым неумением проникать в содержание произведения искусства”... Так о них полагает В. Турбин...

В основе книги Турбина лежит представление, что знание о жизни ценнее, чем сама жизнь, а знание о человеке — ценнее человека. Но искусство как раз всегда “доказывает” обратное, и в этом его великая роль...

Автор рекомендует себя: “журналист, публицист, литературный критик” — и почему-то, правда, среди этих трёх профессий чаще всего встречаются наиболее беспощадные технократы. Может быть, тут играет свою роль желание быть сопричастным к делу и не прозевать прогресс — неизвестно; но только сами техники, когда они берутся за перо, бывают, как ни странно, гораздо тоньше и осторожней, касаясь человеческих тем...”

Отметив, что в словаре Турбина понятия “добро”, “зло”, “счастье” — лишь “скудный запасец отвлечённостей”, авторы приходят к убийственному выводу: “В такие мгновения читатель начинает чувствовать уже, как вместо критика и литературоведа с нами разговаривает какой-то отрешённый от нас электронный Лозэнгрин, “святыни той посол” — пришелец из надчеловеческой, кибернетической эры, где чистая мысль, заключённая в магнитные поля, будет бесшумно и стерильно, со скоростью света удовлетворять свои математические потребности, лишь иногда с холодным отвращением вспоминая про своего человеческого предка, как мы вспоминаем ихтиозавра”.

“Передовое мракобесие”, – так, используя слова Н. А. Римского-Корсакова, авторы определили то умонастроение, которое пронизывало не толькоopus Владимира Турбина, но и многие другие сочинения того времени. По сути говоря, турбинская книга идеально соответствовала целому направлению хрущёвской эпохи, обуянного технократизмом и презрением к органической жизни. Другое дело, что в своём увлечении автор, видимо, перешёл некую черту. На него, действительно, обрушились представители тогдашнего “официоза” за “антимарксизм”.

О том, какое впечатление произвела рецензия в “Вопросах литературы” на многих читателей, особенно молодых, можно, в частности, судить по словам бывшего студента семинара Турбина Юрия Лощица:

“... И вдруг... появляется статья “Человек за бортом” за подписью трёх учёных мужей из Института мировой литературы – Петра Палиевского, Вадима Кожина и Сергея Бочарова. Эти, как быстро выясняется (в том числе и по стилю), люди того же поколения, что и наш Турбин, как-то весело, бодро, лихо и не без фельетонной ядовитости разносят в пух и прах турбинскую книгу, находят в ней целую уйму серьёзных изъянов, в том числе формализм, модернизм, левачество, а главное, пренебрежение к человеку как безусловному объекту любого творчества. Оценки эти и приговоры оказались нам настолько несправедливыми, обидными, даже оскорбительными, что мы между собой тут же зачислили имлийскую троицу в ранг старорежимных ретроградов, душителей всякой смелой мысли. А кто-то из “семинаристов” даже предположил вслух, что такой памфлет можно было написать лишь по заданию с Лубянки (“прозорливый” молодой человек, судя по всему, предсказал все сплетни, который вошли “в читательский обиход” десятилетиями позднее. – С. К.) Словом, эта статья, а также другие отзывы подобного рода о нашем преподавателе не могли не возмущать нас. Сам же Турбин как-то стоически молчал, не потакая нашим неловким попыткам высказаться в адрес его “врагов”. Но нам казалось, что и сам он достаточно глубоко переживает по поводу шума вокруг “Товарища...”.

Сам Турбин, надо отдать ему должное, с юмором отнёсся к разному трюих друзей. Один из них получил от него достаточно ироничное по форме послание, и, судя по тональности и смыслу обращения, адресатом был всё-таки Кожин.

“Дорогой гуманист!

Я только что вернулся из Саранска – заехал туда в порыве счастливого вдохновения буквально на несколько часов специально для того, чтобы познакомиться с Михаилом Михайловичем Бахтиным. Впечатление от разговора с ним вынес огромное и светлое, и сейчас я полон всеми хорошими чувствами, на которые, как это ни странно, способен даже я, апологет электронно-кибернетического бездушия, провозвестник крушения всех священных идеалов и т. д.

Но мне хотелось бы, чтобы всё не свелось к одним только эмоциям и пусть даже самым искренним взвизгиваниям. Давай вместе с тобой – вероятно, и твои единомышленники присоединятся – подумаем, как бы лучше и тактичнее помочь саранскому отшельнику активизироваться, а то бесконечно обидно, что о нём знает лишь кружок избранных, что человек такого большого ума всё ещё остаётся в стороне от повседневной литературной жизни, а книжки его когда-то ещё выйдут.

Если твой антитехнический пуризм и твоё гуманистическое целомудрие не возбраняют тебе пользоваться телефоном и даже троллейбусами, метро и такси, – позвони мне, будь добр, и приезжай в гости. Я же, влекомый неуклонно крепнущим во мне чувством братского участия ко всякого рода консерваторам, поглощённым безобидной пикировкой друг с другом, но от этого не утрачивающим своего консерватизма, вздую самоварчик, правда, увы, электрический. Посидим, поговорим. Может, и придумаем что-нибудь...”

Кожин же на заседании общественного редсовета эстетической редакции издательства “Искусство” счёл нужным по-своему защитить Турбина от воистину погромной рецензии в газете “Советская культура” за подписью некоего В. Зименко. При этом опять-таки не упустил случая вставить самому Турбину новую острую “шпильку”:

– Я написал статью с двумя соавторами с очень резкой критикой книги Турбина. Но в зименковской статье безобразны политические обвинения, не

имеющие под собой никакой почвы. Я считаю, что Турбин иногда даже сверхортодоксален. Недопустимы также всякие обвинения издательства. Сделано очень большое дело, которое поможет излечиться от незрелых взглядов. Книга Турбина противоречива, это противоречивость человека, нашего современника. Эта книга личная. Характерно, что ругают Турбина “кибернеты от общественной науки”, не имеющие никакой внутренней, глубокой заинтересованности. Жанр этой книги раскрепощает. Но форма её мне не нравится. Стиль таков, что Турбин сам становится догматиком (подчёркнуто мной. — С. К.). Это особенно касается его пророчеств... Я думаю, что искусство должно бороться против его порабощения кибернетикой. Я думаю, что необязательно искусство будет всё более интеллектуализироваться. Я думаю также, что Турбину не хватает эрудиции. Мне кажется, что сейчас закончился переворот в искусстве и наметились тенденции антитехницизма. У Турбина, однако, много ценных мыслей: о кино, о художественном методе и т. д. Самое ценное — это его личность...

Но две личности, что называется, не сошлись. Делали одно дело — “помогали саранскому отшельнику активизироваться”, — но это их не сблизило. Бахтин писал Кожинovu о личном свидании с Турбиным: “За два дня до моей болезни заехал на несколько часов (от поезда до поезда) В. Н. Турбин. Он очень милый и интересный человек. Но наша беседа только ещё начала завязываться, как ему уже пришлось уезжать. Он обещал приехать в другой раз”. “Вы пишете о Турбине, — отвечал Кожинov Бахтину в начале 1963 года. — Он, действительно, интересный человек. Но он технократ, и это весьма печально. В романе Луи Селина “Путешествие на край ночи” (одна из книг, “зачитанных до дыр” тогдашней молодой советской интеллигенцией наравне с Ремарком и Хемингуэем. — С. К.) есть великолепный эпизод: герой лежит в окопе, над бруствером свистят немецкие пули, а героический полковник ходит по брустверу, не пригибаясь даже. И герой — Бардаму — думает: “Этот полковник был (он вскоре погиб) хуже собаки. Он даже не понимал, что его могут убить”. Это всегда приходит мне на ум, когда я думаю о людях турбинского толка. Впрочем, Турбин гораздо лучше многих своих единомышленников. В частности, он, в отличие от многих других, — человек, безусловно, одарённый”. Здесь весьма любопытно и поучительно наблюдение Кожинова над “показной смелостью” не только Турбина, но и многих персонажей тогдашнего кожиновского окружения.

“Мне кажется, — писал Турбин Бахтину 22 сентября 1963 года, — что внутри младшего поколения всё хорошо стабилизировалось: Вадим проталкивает, Сергей редактирует, я хлопочу с чайником и плиткой, исполняя роль распорочного завхоза, — так сказать, “личарда верный”...” (Здесь речь идёт, в частности, о Сергее Бочарове, который стал выпускающим редактором “Проблем поэтики Достоевского” вместо отставленного Льва Шубина). Через несколько десятилетий Турбин напишет, что работы Кожинова вызывали у него “недоумение и трудно преодолимую неприязнь”... Впрочем, уже тогда было ясно, что они оба — совершенно полярные люди и писатели.

Через полтора года имя Турбина ещё раз мелькнёт в очередном кожиновском письме: “Читали ли Вы статью в “Литгазете” о В. Турбине? Она, конечно, весьма неприятная, но всё же в чём-то справедливая. Я прочёл несколько статей в “Молодой гвардии” (статей Турбина), и они мне весьма не понравились. Верхоглядство, стремление всё решать сплеча, мессианистский тон и проч., и проч. ... Как это всё устарело — хоть и выступает под маской крайнего новаторства...”

Речь шла о статье Михаила Лобанова “О весёлых эскападах на критической арене”. Разнос книги “Товарищ время и товарищ искусство”, в том числе и с самых высоких трибун, Турбина не остановил. “Покаявшись в грехах” — не исключено, что после внимательного чтения “тройственной” рецензии в “Вестнике МГУ” (“... В сочетании с догматическим ригоризмом методологических установок книги — с ригоризмом, который... благополучно уступил самым нелепым извращениям искусства, — подобный индивидуальный подход в ряде случаев превратился в субъективизм, а энтузиазм автора перешёл в фанатизм, недопустимый ни в строго академическом, ни в “журналистском” искусствоведении”), — он в прежнем духе своего “свободолюбивого” сочинения продолжал резвиться на страницах “Молодой гвардии”. Лобанов вспоминал через много лет, как “в 1963–1964 годах в журнале... из месяца в месяц печатались статьи “Комментирует В. Турбин”. Это была совершенно ошарашивающая

игра в парадоксы, интеллектуальная клоунада... Этот “товарищ искусство”... разгуливал в сверхсовременном эстетическом колпаке по эпохам и литературам, как по цирковой арене, занятый единственной целью – каким бы номером похлеще удивить простаков, заставить их разинуть рты от удивления. Чего только там не было, какими только “проблемами” не угощал автор читателей – от “диалектики” буквально во всём (в том числе и в “весёлых эскападах циркового клоуна” до “репортажей со святок”...)

По “колонкам” Турбина уже прошёлся в “Литературной России” Владимир Пискунов (“Цена парадоксов”). Кожинов же обращал внимание Бахтина именно на статью Лобанова, которая кажется ему и “в чём-то справедливой”, и “неприятной” одновременно. Что покорило Кожинова? Очевидно, преувеличенно-серьёзный лобановский тон, который мог вызвать у того же Турбина и насмешку, и, вместе с тем, ощущение собственной правоты, смешанное с горделивостью “жертвы официоза”. Ни малейшего шанса на это не оставили ему трое друзей!

Бахтин пришёл в восторг от “Человека за бортом”, о чём и написал Кожинову в письме от 2 июля 1962 года: “Я с наслаждением прочитал Вашу тройственную статью о книге Турбина. Статья очень умная и очень нужная: весьма многие увлекаются книгой Турбина (у нас, например, преподаватели, студенты, актёры), но не умеют отделить в ней пшеницы от плевел. Но статья имеет, конечно, и более широкое теоретическое значение”.

... В это время статьи Кожинова одна за другой выходят в “Вопросах литературы”, где, помимо общетеоретических проблем, заостряются вопросы, имеющие самое непосредственное отношение к бурлящей современности: “Должен ли человек быть человеком” (о философском трактате Эвальда Ильенкова), “Отражение жизни и созидание красоты” (об эстетических взглядах Ленина – и, одновременно, полемика с его югославскими интерпретаторами), “Научность – это связь с жизнью”.

“... Марксизм – не сектантское течение, а настоящий и законный наследник всех ценностей, созданных человечеством. Однако слишком часто к его наследию подходят неплотодоворно, нерасчётливо. Так, скажем, обращаясь к эстетике Буало, Канта, Шиллера, даже Гегеля, современный теоретик упорно стремится вскрыть предрассудки, ошибки, пороки, отдавая этому “время”, а действительно ценному – только “час” или, скорее, “минуты”... Но если речь идёт об освоении наследства в теоретической работе, подобный подход просто бессмыслен. Ведь задача как раз в том заключается, чтобы “выжать”, вычерпать до конца всё ценное, полезное содержание; это и будет нашей подлинной победой над теорией, чем-то чуждой или даже враждебной нам...”

Я считаю принципиально важным особо отметить один период в истории эстетической мысли – период, которому, пожалуй, особенно “не повезло”, который осваивается нами наиболее медленно и неплотодоворно. Речь идёт о... советской эстетике 1920–1930-х годов... Ведь в самом деле получается так: мы говорим сколько угодно общих слов о развитии науки после Октября, но как только обращаемся к конкретным работам, в них обнаруживаются лишь неточности, ошибки, пороки... Совершенно несомненно... тот факт, что эстетика театра и кино XX века во всём мире сложилась под мощным и непосредственным воздействием идей Станиславского, Вахтангова, Таирова, Мейерхольда, Эйзенштейна, Пудовкина, Вертова, Кулешова...

Но нельзя здесь пройти и мимо другого вопроса: как это ни странно, во многих наших работах почти не чувствуется сознания величия самого русского искусства.

Мы пережили не столь давно печальный период огульного превознесения русского искусства за счёт зарубежного, печальный, прежде всего, потому, что в результате чрезвычайно затемнилась истина. Ложный патриотизм всё валил в одну кучу, доказывая подчас “превосходство” имеющих узконациональное значение или даже заурядных художников. И в итоге наметилась теперь обратная и столь же ложная тенденция к “скромности”. Между тем вершинные явления русского искусства конца XIX–XX веков действительно представляют собой не сравнимые ни с чем, величайшие художественные достижения целой эпохи. Они не только вошли в “золотой фонд” культуры человечества, но и прямо определили развитие мирового искусства в XX веке”.

Казалось бы, очевидные вещи, к которым невозможно открыто придраться, – и вполне в духе обновлённого времени... Впрочем, смотря как это время

понимать. С одной стороны, явно не желали сдавать своих позиций догматики, “учившие” классиков “марксизму” (кое-кто из них доживёт и до “перестройки”, и до развала государства и примкнёт к оголтелым “либералам”). С другой — “свободолюбивые” товарищи на ниве теории литературы и эстетики не желали видеть ничего ценного в сталинской эпохе в целом (“Что доброго из Назарета?!”) — и их истеричные голоса ещё громче зазвучат на рубеже 1980–1990-х годов. А уж разговор о “сознании величия самого русского искусства” вообще в тогдашней среде — хоть догматической, хоть либеральной — в обрисованном Кожинным ракурсе не мог не восприниматься как сплошное нарушение “приличий” нового времени, когда на страницах тех же “Вопросов литературы” печатались ответы на анкету “Молодые о себе” молодых прозаиков и поэтов (Василия Аксёнова, Рида Грачёва, Андрея Вознесенского, Юсуфа Самедоглу, Юлиана Семёнова и других, влетевших в литературу на фоне “оттепели”):

“Насчёт традиций ничего утверждать не берусь... Симпатизирую всем стремлениям к более динамичному письму”;

“Не думаю, чтобы писателю была полезна близость с литпредшественниками”;

“Русская классика своим величием часто гипнотизирует современного писателя. Опыт же XX века давно требует своего языка, способного художественно синтезировать время”;

“Наиболее перспективными исканиями в области художественной формы мне представляется наследие, которое оставил литературе будущего Хемингуэй”;

“Мы всегда слышим: будьте верны национальным традициям, отстаивайте их... Но... читая произведения большого писателя или поэта, я не думаю о его национальности. Я завидую тем художникам, которые, преодолев национальные барьеры, выходят на арену всего мира. По-моему, какой бы большой любовью ни любил писатель свой народ, он всегда должен считать себя гражданином Земли”.

“Это было, в частности, — через много лет писал Кожин, — прямым следствием той “постыдной компрометации” самой идеи отечественной литературы, которая имела место в конце 1940 — начале 1950-х годов”.

В это же время “Союзкнига” печатала в журналах рекламные объявления — читателям предлагались “в магазинах книоторга и потребительской кооперации” издания стихотворений Боратынского (1957, 30 тыс. экз.), Державина (1957, 20 тыс. экз.), Аполлона Григорьева (1959, 20 тыс. экз.), Ивана Козлова (1960, 8 тыс. экз.).

Очевидно было: в моду вошли стихи, но не поэзия, как таковая. И “литпредшественники” мало кого интересовали.

В это же время в Институте мировой литературы проходят совместные симпозиумы с зарубежными литературоведами... Иван Анисимов, ссылаясь на Ирвина Шоу, рассказывал, как в Соединённых Штатах “переписывают” Достоевского:

— Приходит посол из Гугенхаймовского фонда к Раскольникову: “Поскольку Вы талантливый человек, мы Вас берём на стипендию”. Дрожа от радости, Раскольников становится на колени и опускает голову в знак благодарности... Как будто “Американской трагедии” в природе не было!

Сам Ирвин Шоу говорил, что в Америке “всё атомизируется, растёт пассивность, безразличие ко всему, нигилизм сытости заглушает все порывы человеческого духа”... Профессор Франклин Рив удивлялся тому, что советские критики непомерно преувеличивают значение романа Джерома Дэвида Сэлинджера “Над пропастью по ржи” — “узкого и не столь значительного”, — и признавался, что невысоко ставит и Джека Керуака... Виктор Осипович Перцов, общавшийся с Есениным и Маяковским, догматик и человек огромной начитанности, говорил об апологетах “прогресса в искусстве” на Западе, где Льва Толстого воспринимают как “музей”, а Марселя Пруста — как “лабораторию”. На совместных советско-чехословацких симпозиумах приглашённые гости яростно отрицали “смерть романа”.

“Вопреки пророческим предсказаниям Берля, Анри Масси, Андре Шира и многих других, убеждённых в том, что эра романа ушла в прошлое, что вместо физического времени в центре эпических произведений должно быть

поставлено время лирическое, эгоцентрический или совсем обезличенный герой, — развитие романа не остановилось” (словацкий славист М. Томчик).

* * *

Вокруг Кожинова в это время собрался довольно сплочённый круг людей — самых разных и в иных условиях едва ли представимых в своём единстве, — активно работающих на воскрешение в современной жизни трудов Бахтина. Одна из запомнившихся многим фигур этого круга — Леонид Ефимович Пинский.

Ещё в 1930-е годы он одновременно с Бахтиным исследовал творчество Рабле — и тогда же защитил диссертацию по теме “Смех Франсуа Рабле”. С 1951-го по 1956 год отбывал срок в Унженских исправительно-трудовых лагерях, как он сам говорил, по показаниям главного “свидетеля обвинения” Якова Эльсберга, со всеми подробностями воспроизведшего на суде содержание их личных бесед (в этом же потом Эльсберга обвиняли отсидевшие Сергей Макашин, Евгений Штейнберг и вдова расстрелянного Михаила Левидова). Во время своей реабилитации он заявил: “Превратно излагая содержание многих бесед с ним на литературные темы, Эльсберг охарактеризовал мои убеждения и высказывания в духе, желательном для органов, которыми руководил тогда Л. Берия, лишь на основании этих показаний, повторённых тогда на суде, я был осуждён — недаром в приговоре по моему делу в качестве свидетеля обвинения назван только Эльсберг”.

Конечно, в 1951 году руководил МГБ не Берия, а Игнатъев, впрочем, эти “детали” не интересовали никого: нужен был общий враг и вселенский монстр в лице то ли расстрелянного по суду, то ли убитого без всякого суда Берии. “Превратно излагая” — можно понять эту формулировку в контексте происходящих событий: реабилитация касалась тех, кто, разумеется, не произносил никаких “контрреволюционных” речей и не вёл подобных разговоров (когда Пинский прямо потребовал у Эльсберга, чтобы тот письменно отрёкся от своих ранних показаний — это было необходимо для реабилитации, — Эльсберг, не моргнув глазом, написал всё необходимое, присовокупив устно: “Тогда требовалось одно, а теперь — другое”) ... Кожинов вспоминал потом, что “Леонид Ефимович относился к делу истинно “философски”. Он говорил, что Эльсберг ни в чём не “клеветал”... а суть дела, утверждал Леонид Ефимович, вовсе не в Эльсберге, но в тогдашних порядках, при которых за прозвучавшие в чисто личной беседе критические суждения (и не столь уж суровые) в адрес режима человека запросо могли отправить в ГУЛаг. Разумеется, Леонид Ефимович отнюдь не “оправдывал” Эльсберга, но, например, совершенно спокойно воспринимал тот факт, что я, а также Сергей Бочаров и Георгий Гачев... были сотрудниками сектора теории ИМЛИ, где заведующим до своего разоблачения (это произошло в том же 1962-м. — С. К.) являлся Эльсберг. Помню, Леонид Ефимович говорил, что если исходить из этого факта, вообще нельзя работать в ИМЛИ (да и в других местах), так как, помимо Эльсберга, есть там и целый ряд других людей, притом, как правило, начальствующих, — занимавшихся тем же самым, хотя и не “разоблачённых” во всеулышание. Позиция Леонида Ефимовича в этом вопросе была для того времени, можно сказать, уникальной. И это, конечно, только одно из проявлений его выделявшейся на общем фоне натуры”.

Тут надо сделать небольшое отступление. Разоблачение Эльсберга и последовавшее его исключение из Союза писателей (через год он был восстановлен) было делом рук его же сверстников, в частности, бывшего пламенно-го комсомольца Ивана Чичерова, бывшего сотрудника Главискусства, ныне — сотрудника ИМЛИ. Кожинов, слушая “динамитные” выступления Чичерова, не мог не задуматься о том, что, как он писал позднее, “двумя десятилетиями ранее именно такие “пламенно активные” комсомольцы и коммунисты разоблачали бесчисленных врагов”... В то же самое время он побывал на одной из многочисленных “квартирных выставок”, где демонстрировалось полотно одного потом мгновенно забытого живописца “Тройка” (почти через тридцать лет его опять вытащили с этой картиной на белый свет, как “несправедливо забытого в годы застоя”, чтобы потом снова о нём забыть и никогда уже больше не вспоминать). “Тройка судей” сидела перед залом, наполненным людьми,

готовясь приступить к своим обязанностям... Эту же картину лицезрели молодые артисты театра “Современник”, буйно восторгавшиеся увиденным и превозносившие смелость художника. Кожинов не мог не вставить свою реплику: очень скоро, сказал он, эти же судьи спустятся в зал и смешаются со своими бывшими жертвами, и будут слушать приговор совершенно других судей... Естественно, все присутствующие накинулись на него и завопили, что этого не может быть, что его слова — цинизм и кощунство...

Время от времени Кожинов вспоминал о своём посещении квартиры Пинского, где собирался своеобразный “салон”. Его посещали, в частности, Всеволод Некрасов, Оскар Рабин, Анатолий Зверев, Григорий Померанц, Генрих Сапгир, секретарь Эрэнбурга Наталья Столярова из семьи эсеров-террористов, окончившая Сорбонну, репатриировавшаяся в середине 1930-х в СССР и отсидевшая срок с 1937-го по 1946 год, делившаяся у Пинского своими своеобразными воспоминаниями и о зарубежной, и о лагерной жизни... Там же Кожинов познакомился с Борисом Чичибабиным, стихи которого читал раньше, но тут услышал не публикующееся и расходящееся по рукам: “Кончусь? Останусь жив ли? Чем зарастёт провал? В Игоревом Путивле выгорела трава. Школьные коридоры, тихие, не звенят... Красные помидоры кушайте без меня!” Стихи, написанные сразу после ареста поэта в 1946-м, Вадим Валерианович сразу же затвердил наизусть.

В одном из писем Бахтину Кожинов обрисовал свои впечатления от общения с Пинским: “Будет очень хорошо, если Вы напишете Пинскому... Кстати, он — если позволено так говорить о человеке за пятьдесят — всё время “растёт”, становится всё более интересным и глубоким. Правда (то есть именно поэтому), он мало пишет, больше думает и (быть может, слишком много) говорит. Мы несколько раз говорили с ним о Вашей книге, и он делал интересные замечания (в частности, критические — со своей субъективной позиции)”.

Вспоминаю кожиновские слова: “При Пинском даже знаменитый шекспировед Аникст сидел тихо, как мышь пришибленная, и смотрел ему в рот”. В беседе, опубликованной в журнале “Диалог. Карнавал. Хронотоп” в 1994 году, Кожинов об этом же сказал гораздо более “дипломатично”: “...Бывал у Леонида Ефимовича театровед и литературовед А. А. Аникст (запомнилась читающей публике статья Аникста в “Литературной газете”, где он отчеканил: “Мы говорим: нам нужна своя классика. Но классиками становятся не те, кто подражает классикам. Классиками становятся только новаторы”, — и сослался, как было принято, на Маяковского и Шостаковича. — С. К.). Кстати, он имел тогда значительно большую известность, чем Леонид Ефимович, но на собраниях было ясно видно, что он признаёт бесспорное “первенство” Леонида Ефимовича. Часто присутствовал на собраниях историк культуры Г. С. Померанц... Он иногда зачитывал фрагменты из своих философских сочинений, которые тогда “печатались” только на пишущей машинке, — правда, автор сам “издавал” их в виде книжек с переплётами из роскошной ткани...”

Собрания были интересны и “информацией”, которую тогда трудно было получить (в частности, рассказывалось о том, что пишут на Западе о нашей стране), и осмыслением происходящего, — чем занимался, в основном, сам хозяин дома. При этом все говорили, не считаясь с тем, что вроде бы сохраняется тоталитарный режим и высказываться надо с оглядкой...”

В последней фразе слышится ехидная насмешка Кожинова над расплывшимися в 1990-е “очевидцами”, “ушеслышцами”, “наблюдателями” и “историками”, всерьёз убеждёнными и убеждающими других, что до конца 1980-х годов в Советском Союзе никто (конечно, за исключением отдельных “героев”, печатавшихся, естественно, только “на Западе”) не смел ни вдохнуть, ни выдохнуть не в унисон с решениями “партии и правительства”... Но если вернуться к Пинскому, то следующий эпизод чрезвычайно показателен.

К этому времени, наполненному общением (эпистолярным и личным) с Бахтиным, которое перевернуло всё кожиновское бытие, Вадим Валерианович изживал последние остатки повсеместно распространённой в интеллигентских кругах “либеральщины”. Слово могучим ураганом вымело из него всякое презрение к “мещанству”, которое он демонстрировал в 1958 году и о чём больше не желал вспоминать. А это презрение — даже не презрение, а ненависть к устойчивым традиционным формам жизни, под которыми подразумевалось “мещанство”, — было распространено повсеместно, и не только среди “детей XX съезда”.

В “салоне” Пинского западная культура превалировала в разговорах как нечто неизмеримо более высокое по сравнению с советской. Сам Пинский, – вспоминал Кожин, – “вставал, начинал ходить по комнате, пересекая её по диагонали и говорил, говорил в весьма своеобразной манере, настоятельно интонируя наиболее важные слова. В его речи было нечто гипнотизирующее”. Так, гипнотизируя слушателей, Леонид Ефимович изверг из себя нечто чрезвычайно презрительное по отношению к “мещанству”. И тут Кожин не смолчал.

– Леонид Ефимович, проблему мещанства однажды прекрасно разрешил Андрей Платонов в рассказе “Фро”. Помните, героиня говорит иронизирующему над ней отцу: считай, мол, меня мещанкой. И слышит ответ отца: “Мещанки хорошие женщины были, тебе до них ещё дорасти нужно!”

– До кого дорасти?! – взвился Пинский. – Да самый заурядный советский (включил издевательскую интонацию. – **С. К.**) человек заведомо лучше всех дореволюционных мещан!

Да, это был уже не “антисоветизм” в какой бы то ни было упаковке. Кажется, Кожин впервые лицом к лицу столкнулся с тем, о чём он позже прочтёт у Тютчева, с тем, что называется “русофобией”.

Сам он говорил, что “именно явление “Бахтин”... побудило меня – поначалу в значительной мере бессознательно – ступить на стезю патриотизма (если взять это простейшее определение). Известно, что существовал так называемый советский патриотизм, который связывали и с Россией, с “русским”, но с его носителями – в отличие от таких людей, как Леонид Ефимович Пинский, – мне вообще не о чём было говорить и даже спорить, – хотя бы потому, что для них ведь не существовали ни Розанов, ни Бахтин, ни даже Достоевский, и они “принимали” Пушкина или Толстого в крайне урезанном и препарированном виде”. В данном случае, он, очевидно, имел в виду иных своих сослуживцев по институту, а также сотрудников таких литературных журналов, как “Новый мир”, “Октябрь”, “Знамя” – ибо при всех “диаметрально противоположных позициях” многие из них были здесь, по сути, “близнецами-братьями”.

Небезынтересно и то, что Бахтин, настоятельно рекомендовавший друзьям “читать Розанова”, о самом Розанове говорил как о “типичном петербургском мещанине”. Что это был за мещанин – с его уникальной свободой и глубиной мысли и изложения – стало ясно при первом прикосновении к его книгам... Тут и само понятие “мещанства” обрело совершенно иной смысл.

“Мы <...> вышли из либеральных 60-х годов и открывали для себя консервативные ценности, национальную тему. И, конечно, религиозную. Две большие темы, которые, главным образом, были открытием 70-х, в гражданские 60-е они ещё не так звучали. Мы хотели совмещать либеральное и консервативное, права человека с русской идеей – и совмещали как-то, хоть и сумбурно. Популярное ныне понятие либерального консерватора ещё не было сформулировано, и мы искали чего-то такого ошупью”, – так вспоминал об этом времени Сергей Бочаров, и думается, отчасти подобные устремления были близки, естественно, Кожину, при том, что его духовная эволюция совершалась поистине стремительными темпами.

...Итак, Пинский. Он написал восторженную внутреннюю рецензию на рукопись книги Бахтина о Рабле, которая в крайне непростой ситуации существовала продвижению её к изданию, о чём Кожин никогда не забывал. В это же время сам Вадим Валерианович взялся отрецензировать книгу Пинского “Реализм эпохи Возрождения” для “Вопросов литературы”. В первой её части воздал должное автору за то, что “рецензируемая книга продолжает лучшие традиции предшествующей теоретической работы – масштабность и смелость обобщений, живое ощущение истории, тщательное изучение реального литературного процесса”, если ещё учесть, что “Л. Пинский сделал очень значительный шаг вперёд по сравнению с работами 1930-х годов, в том числе и своими собственными”, когда “сложная и многогранная содержательность самой формы произведения оставалась за пределами внимания исследователя”. Кожин высоко оценивает главы книги, посвящённые “Похвале глупости” Эразма (где “Л. Пинский обнаруживает глубокую ограниченность широко распространённого понимания книги Эразма только как разоблачающей сатиры”), “Гаргантюа и Пантагрюэлю”, “Дон Кихоту” (“едва ли не самой замечательной в книге”), трагическому у Шекспира... А потом плавно

переходит к “недостаткам”, обнаруживая в хвалимом им авторе неизжитого догматика и вульгарного социолога (не могли не произвести на Вадима Валериановича впечатление инвективы Леонида Ефимовича против “мещанства”!): “...Превосходно раскрывая многостороннее богатство смысла шекспировских трагедий, Л. Пинский вдруг словно обрубаёт ход своей мысли штампованной и, в сущности, бессодержательной формулировкой. Он пишет, что в ряде трагедий Шекспира... выступает как “главное основание действия и основной мотив всей драмы *собственническое состояние общества*”... Эту формулу, справедливо замечает Кожин, “можно приложить к десяткам художников XVII–XX веков, и уже это обнаруживает её шаткость”... Ещё более интересная ситуация возникает с анализом “Кориолана”. Пинский обвинял Кориолана в антипатриотизме и утверждал, что “разрыв Кориолана с Римом – не только заблуждение, но и преступление... Патриот Шекспир осуждает Кориолана на гибель”. Это было особенно забавно читать Кожин, наслушавшемуся в “салоне” Пинского совершенно других речей. Он воспроизвёл в своей рецензии то, чего в достаточной мере наслушался и от самого Пинского, и от его гостей: “Автор, конечно, хорошо понимает, что Кориолан порывает не с народом, а с римским государством”... И тут же насмешливая интонация рецензента меняется, и слова обретают совершенно иную тональность (если угодно, *гипнотическую*, по Пинскому), когда дело доходит до самого главного для Кожина: “...Дело даже не в этом, а в существенном упрощении художественного смысла и художественной ситуации трагедии... Кориолан (как это, кстати, *доказывает* сам Пинский) и есть *народ*, – точнее, дух народа, его мудрость... Поэтому Кориолан, в сущности, вообще не может “порвать” с народом; уходя, он вместе с тем уносит с собой его высокий дух и мудрость... Л. Пинский затемняет и мельчит свою собственную мысль, когда он *извлекает* Кориолана из этой художественной ситуации и начинает судить его в прямолинейно социологической системе отсчёта”...

Это выглядело в глазах Пинского как выговор “ученика”, воспринявшего уроки свободолюбия от “учителя” и упрекнувшего его в том, что сам-то преподаватель и несвободен и догматичен, и вообще трусоват, ибо в тексте, явленном на всеобщее обозрение, снабжает ценные наблюдения необходимыми “оговорочками”... Всё это Пинский, можно не сомневаться, запомнил, хотя тогда, судя по всему, и виду не подал. Окончательный его разрыв с Кожинским произойдёт через несколько лет.

* * *

На протяжении ближайшего трёхлетия интенсивная переписка Кожина и Бахтина не прекращается. Они делятся друг с другом всем: житейскими новостями, впечатлениями от прочитанных книг, известиями с “издательских фронтов”.

Михаил Бахтин – Вадиму Кожину, 2 июля 1962 года:

“С интересом прочитал статью Гайдено о Хайдеггере. Статья написана с пониманием дела, и автор, по-видимому, обладает настоящей философской одарённостью (качество – редкое у настоящих профессиональных философов). Самого Хайдеггера я, к сожалению, мало знаю. Из учеников Гуссерля (которого я ценю очень высоко и который оказал на меня определяющее влияние) мне ближе всего был Макс Шелер и его персонализм, Хайдеггер же как-то почти вовсе оставался вне поля моих философских симпатий, но по статье Гайдено я вижу, что кое в чём и он мне близок (читая статью, Вы, вероятно, уловили некоторые созвучия). О Гуссерле и Шелере мы непременно подробно поговорим при личном свидании.

Из Турина я никаких известий не получал. Мне даже не сообщили оттуда о получении моей рукописи.

Г. Д. Гачев оставил у меня только две своих работы: “Национальное своеобразие образа в русской классической литературе” и “Логика вещей и человека”. Вышлю их Вам в ближайшее время.

Здоровье Елены Александровны неважное: она опять болела и сейчас медленно поправляется. Сам я относительно здоров. Боюсь, что летом мы никуда не поедим. Поэтому непременно нужно устроить так, чтобы Вы к нам приехали. Очень прошу Вас серьёзно об этом подумать...”

Михаил Бахтин – Вадиму Кожинову 7 июля 1962:

“Дорогой Вадим Валерианович!

Получил от Гослитиздата предложение немедленно выслать рукопись моего “Рабле”.

... Перед отправкой я бегло просмотрел рукопись и пришёл в совершеннейший ужас. Я дополнял её (около 1950 г.) по “указаниям” экспертной комиссии ВАКа и внёс в неё много отвратительной вульгарщины в духе времени. Переделывать уже нельзя было, так как редакция требовала немедленной высылки. Я смог только заклеить прямые следы культа личности (увы, были и они). Боюсь, чтобы всё это не отпугнуло от книги серьёзных рецензентов (правда, таким, как Книпович, это, может быть, и понравилось бы).

... Нельзя ли как-нибудь – в сугубо дипломатической форме – предупредить редакцию о той обстановке, в которой я переделывал свою диссертацию. Я снова принужден злоупотреблять Вашей исключительной добротой...”

(Трудно сказать сейчас – имел ли в виду Бахтин под “прямыми следами культа личности” отдельную главу под названием “Рабле и Ленин”, где утверждалось, что есть связь между “карнавальностью” стиля Рабле и “карнавальностью” стиля Ленина, и выброшенную им из текста книги).

Из письма Вадима Кожинова Михаилу Бахтину 12 июля 1962 года:

“Дорогой Михаил Михайлович!

Пожалуйста, не беспокойтесь по поводу рукописи, орнаментированной в духе 1950 г. Для редакции это как раз очень удачный вариант. Пусть ничто не отпугивает в самом начале. А потом Вы сможете сделать все необходимые исправления, добавления etc. ...

В Гослитиздате дело должно идти следующим образом: в течение месяца редакция будет изучать присланную Вами рукопись (и пусть именно эту!). В середине августа её собираются (уже договорённость есть) взять на рецензию Пинский. Опять-таки не беспокойтесь, что он что-либо не так поймёт, – я всё ему объясню...

Далее, я толком не знаю, как развиваются Ваши отношения с “Советским писателем”... И как насчёт редактора (имеется в виду книга “Проблемы поэтики Достоевского”. – С. К.). Им мог бы быть, по-моему, Л. П. Гроссман или Ю. Г. Оксман, или Долинин (только не Кирпотин!).

Наконец, у меня есть к Вам большая просьба. Вы говорили о своей небольшой работе “Слово в романе”. Я очень хотел бы познакомиться с ней и, в частности, процитировать её в главе о романе для нашей “Теории литературы”. Очень был бы благодарен, если бы Вы мне её прислали. Пользуясь Вашим любезным приглашением, я обязательно приеду в Саранск вместе с Леной в конце июля–начале августа (как только получу отпуск) и привезу обратно рукопись.

Бочаров и Палиевский всё ещё изучают Вашу главу, но поклялись, что на той неделе вышлют Вам свои отзывы. Не помню, писал ли я Вам о статье Палиевского в № 6 “Нового мира”. По-моему, превосходнейшая вещь. Может быть, посмотрите...”

Из письма Михаила Бахтина Вадиму Кожинову 18 июля 1962:

“... К сожалению, не могу выслать Вам рукопись “Слова в романе”, так как единственный имеющийся у меня экземпляр совершенно не пригоден для чтения: я несколько раз начинал его переделывать, исчеркал, изрезал, разобратся в нём даже мне теперь трудно. Кроме того, работа эта уже не отвечает моим теперешним воззрениям...

“Фантомы” Палиевского достал и приступаю к изучению...”

Из письма Вадима Кожинова Михаилу Бахтину 20 сентября 1962:

“Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

... Этим летом мы немало повидали. Последняя наша поездка, очень краткая, была особенно прекрасной. Мы были в маленьком ровеснике Москвы – Переяславле-Залесском. Там сохранилась – помимо изумительного собора XII века – почти сказочная улица-река Трубеж, впадающая в похожее на море Плещеево озеро. Её устье (около километра) представляет собою именно улицу, нечто венецианское, но в то же время совершенно до боли русское. Домики северного типа стоят, почти прижавшись друг к другу, а перед ними, у берега, так же тесно стоят в реке лодки. Улица живёт на реке. И всё это

стремится к озеру-мору, у выхода в которое, на самом берегу, высится храм со стройной колокольней; когда-то звон её, наверное, наполнял весь водный простор. И сама эта колокольня — как маяк.

Впрочем, почти невозможно даже намекнуть, как всё это чудесно. И северные лодки — длинные, узкие, изящные, очень напоминающие гондолы. Нам весьма повезло — мы познакомились и подружились с коренным переяславцем, влюблённым в эту реку и озеро, очень милым человеком, который с наслаждением возил нас на своей моторной лодке (там все прикрепляют к своим гондолам небольшие, похожие на примусы моторчики) по реке и озеру. Всё это было как сон.

... Ещё мне хочется немного сказать о том более или менее цельном впечатлении, которое составилось у меня теперь о Ваших работах (всех вместе, которые я знаю, — о Рабле, о Достоевском, о романе — т. е. связанных с позднеантичной прозой). В своей цельности они представляют поразительно глубокую и масштабную концепцию всего развития словесного искусства и даже шире — культуры. Вы раскрыли сущность трёх родственных эпох или культур, символизируемых понятиями “менипповой сатиры”, “раблезианской стихии” и творчества Достоевского. Остальные эпохи — классической античности, официального Средневековья и (пожалуй, можно назвать так) Просвещения — постигаются, выявляются по контрасту с этими эпохами наиболее глубокой и многогранной культуры. Более того, и в эти “внешние” и по-своему ограниченные эпохи (цивилизации) открытое Вами состояние культуры живёт, продолжает развиваться как подспудное, ушедшее вовнутрь течение. В три изучаемые Вами эпохи происходит как бы взрыв, и глубинные воды — даже океан — выплёскиваются наружу...

Но значение и ценность Ваших работ не ограничиваются этим “диахроническим” аспектом. Есть и другая сторона — синхрония, которая относится уже не к движению культуры вообще, а специально к литературе (как “оболочке” — так и в лингвистике синхрония касается самой формы языка) (простите, что я так неуклюже и варварски объясняюсь!).

И в этом смысле поразительно опять-таки широта Ваших результатов. Ибо почти вся проблематика теории литературы получает оригинальное и глубокое решение — в особенности всё, что касается художественной речи как первой и в то же время последней реальности литературы. Но так же и сюжетика, и проблема образа (как структуры художественного мира).

Вы легко бы могли написать интереснейшую и в то же время классическую “Поэтику” — первую подлинно органическую после Веселовского.

Впрочем, что об этом говорить? Если бы Вы хотя бы сделали то, что почти обещали, — статью о слове в романе на материале “Онегина”. Я уже договорился об её немедленном опубликовании в “Вопросах литературы”. Может быть, всё-таки напишете?..”

Эта статья Бахтина будет опубликована через два года в любимом кожиновском журнале.

Проходит ещё полтора месяца. Кожинов подробно пишет Бахтину о работе над томами “Теории литературы”, статьи в которых “пришлось с утра до ночи дописывать, переписывать, готовить к печати”, что “с “Достоевским” всё никак не могут решить вопрос о редакторе — то хотя бы обойтись без него, то начинаю лихорадочно искать среди всяческих кандидатов”, что с “Рабле” “всё идёт превосходно... Теперь дело за главной редакцией издательства. Завредакцией сказал мне, что есть большие основания включить книгу в план 1963 года (а не 1964, как предполагалось вначале)... И, естественно, посвящает Бахтина в круг чтения своей семьи.

Сам Кожинов заповсем читает Розанова. Его супруга Елена Владимировна одержима Бердяевым. “Она читает (разумеется, в библиотеке) его последние работы — такие, как “Русская идея” (1946), “Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого” (1947), “Самопознание (опыт философской автобиографии)” (1948) и другие. Всё это производит на неё громадное впечатление, граничащее с потрясением...”

...А Кожинов со всей читающей страной испытывает новое потрясение. После восторженных слов о только что переведённом и напечатанном в СССР романе Уильяма Фолкнера “Особняк” (“Многие считают, что Фолкнер — крупнейший писатель XX века или, по крайней мере, последних десятилетий”)

разговор заходит о Солженицыне, о только что опубликованном “Одном дне Ивана Денисовича” и прочитанном в машинописной перепечатке рассказе “Не стоит село без праведника”, известного нам как “Матрёнин двор”:

“Наконец, о повести Солженицына. Мне очень интересно Ваше мнение. Мне удалось прочесть ещё другую его повесть — просто о жизни в сегодняшней деревне (м. б., будет напеч.) — и я теперь совершенно уверен, что это поистине великий писатель мирового размаха. И, главное, это вовсе не “лагерная” повесть, какой её стремятся представить. Это о современности вообще. И её подлинное название — “Один день одного зека” (видимо, это название Кожинов услышал от одного из своих тогдашних собеседников. — С. К.) нельзя понимать буквально. Просто люди стали зеками...”

Пётр Палиевский вспоминал, как научный сотрудник ИМЛИ и заместитель Твардовского по “Новому миру” Александр Дементьев приходил в институт с толстым портфелем, где лежала машинопись этой самой повести. “Во!.. Бомба”, — восхищённо-плотоядно облизывался он. “Не подозревал несчастный доброхот, — комментировал Пётр Васильевич, — что эта бомба разнесёт его самого в щепы, откуда уже никогда и никто не сможет его собрать”.

Повесть Солженицына стала главной литературной сенсацией года. В хвалебном хоре, который встретили её появление, смешались все: “сталинисты” и “ленинцы”, “либералы” и “консерваторы”, “правые” и “левые”. Исключений было немного — и мы скажем о них отдельно.

Константин Симонов и Владимир Ермилов, Григорий Бакланов и Александр Дымшиц, Вадим Кожевников и Иван Чичеров, Владимир Бушин и секретарь по идеологии Леонид Ильичёв расхваливали повесть наперебой. “Думается, что А. Солженицын проявил себя в своей повести как подлинный помощник партии в святом и необходимом деле борьбы с культом личности и его последствиями...” “Все эти люди, точные, живые характеры, с такой силой правды и человечностью написанные Солженицыным, — это весь народ, кровная часть его, вырванная насильственно, бессмысленно изолированная от общества. Народ строил, создавал, но такой ли могла быть наша страна сегодня, если бы во все её славные и тяжёлые годы и эти люди были с нами!..” “Повесть А. Солженицына, порою напоминающая толстовскую художественную силу в изображении народного характера, особенно замечательна тем, что автор целиком сливается со своим главным героем, и мы видим всё изображаемое в повести глазами Ивана Денисовича...” Рефреном по всем статьям и рецензиям гремело: “полная правда”, “только такая правда нам и нужна”, “это не должно повториться”, “чтобы это никогда не повторилось”... По рукам ходила “внутренняя рецензия” Корнея Чуковского: “Автор не щеголяет языковыми причудами (курсив мой. — С. К.) (как Даль, Мельников-Печерский, Ал. Ремизов), не выпячивает отдельных аппетитных словечек (как безвкусный Лесков) (курсив мой. — С. К.); речь его — не стилизация, это живая органическая речь, свободная, как дыхание. Великолепная народная речь с примесью лагерного жаргона. Только владея таким языком и можно было прикоснуться к той теме, которая поднята в рассказе”... Чуковский обладал таким литературным авторитетом, что многие и многие из читавших, никогда не открывавших ни Даля, ни Мельникова-Печерского, ни Лескова — могли ему и поверить. Тем более восхитившись его точными наблюдениями именно над солженицынским словом... Кожинов также не остался в стороне. В это время он как раз дописывал 11-ю главу “Происхождения романа” — “О природе художественной речи в прозе”. Заключение абзаца её небесполезно перечитать и ныне, особенно, начинающим писателям.

“Для лучших явлений русской прозы конца 1920-х и 1930-х годов характерно то, что речь, с одной стороны, не подчиняется каким-либо требованиям общего “современного” стиля (то есть стиля поэтической прозы), а с другой — вовсе не повторяет сложившихся форм прозы Толстого, Достоевского, Чехова, Бунина. Она идёт вперёд, осваивая само движение современной жизни и созидая формы речи как бы непосредственно из форм жизни.

Такова проза Шолохова, в которой вместе с голосами героев звучит голос народа — звучит не рядом, а внутри самих голосов героев, подобно эху. Такова далеко ещё недооценённая проза Андрея Платонова, в речи которой словно бы слышны голоса самой природы, её живых сил — листьев, корней, зёрен — и даже дающей всем жизнь тёмной земли. Такова тончайшая, изящная и в то же время доподлинная, не “поэтическая” проза Олеси... Вообще

для речи новейшей прозы характерно стремление к теснейшему взаимодействию голосов очень разного плана и происхождения — не только человеческих, но и голосов живых существ, вещей, земли, целого народа, мира и вселенной.

В современных поисках в сфере художественной речи прозы наметились две разные устремлённости: с одной стороны, попытки создания ярко выраженного “современного” стиля, напоминающие тенденции прозы начала 1920-х годов, с другой — стремление возвратиться к “истокам”, буквально воспроизвести стиль Чехова и Бунина. Думается, что эти устремления не могут привести к победе, к созданию новой классической прозы. Единственный путь — это упорное, неимоверно трудное и в то же время по-своему “наивное”, “естественное” овладение реальными формами самой жизни, “перевод” этих форм в формы прозаической речи, как бы не опирающейся (во всяком случае, внешне, очевидно) ни на плотный грунт вековой традиции, ни на зыбкое марево “современного стиля”. На этом пути развивается художественная речь прозы Солженицына”.

“Попытки создания ярко выраженного “современного” стиля” (в котором, по сути, не было ничего “современного” кроме введённых в язык автора и героев жаргонных словечек) Кожинлов видел в так называемой “исповедальной прозе”, авторы которой (Анатолий Гладилин, Василий Аксёнов и др.) были в это время “на коне” — герои как захваливающей до небес, так и сугубо разностной критики никогда не казались ему заслуживающими серьёзного внимания. Что касается писателей, стремящихся “буквально воспроизвести стиль Чехова и Бунина” — здесь, очевидно, имелся в виду Юрий Казаков, привлёкший внимание уже своими первыми рассказами. В глазах Кожинлова это случай более сложный и интересный, но, по сути, так же им отвергаемый. Через несколько лет в статье “Что такое мастерство писателя” он даст своё определение этому понятию, вокруг которого весь XX век ломались критические и научные копья: “Мастерство писателя и поэта — это бесконечное, неисчислимое многообразие способов создания художественного мира. Но всё дело в том, что эти способы должны органически рождаться непосредственно в самом процессе творчества... В том, что мы нередко принимаем за чисто внешние и, так сказать, нейтральные способы обработки слова, именно и воплощается, объективируется художественный мир писателя. Поэтому ввести в своё произведение чужой “приём” — это значит внести кусочек чужого художественного мира и подменить, заслонить им свой собственный”. Как происходит подмена, он и показал на примере Юрия Казакова, его рассказа “Лёгкая жизнь”: “В рассказе Ю. Казакова — вопреки его намерениям — внедряется... сам чеховский художественный мир, в котором запечатлелась так или иначе русская жизнь конца прошлого века, её цельная стихия и структура. И эта давно ушедшая стихия в той или иной мере заслоняет, затемняет современное содержание рассказа...” С этими словами перекликаются позднейшие слова о Казакове его ближайшего друга в литературе Георгия Семёнова: “Он заковал себя в этот стиль и, с поднятым забралом глядя на окружающую реальность, не мог иной раз вырваться на свободу и сказать о всех болях, которыми переполнена была растрёпанная, не укладывающаяся в какие-либо стили, пёстрая, лоскутная наша жизнь. У него, к сожалению (как ни странно звучит это “к сожалению”), не было плохих рассказов, не было явных неудач, провалов.

А эти провалы и неудачи могли бы, на мой взгляд, выбить его из истинного прекрасного седла, в котором он по-рыцарски гордо восседал”.

К более поздним рассказам Казакова Кожинлов, судя по всему, отнёсся уже совершенно иначе, во всяком случае, назвал его имя среди писателей, чья проза “принадлежит к поэзии, к художественному творчеству как таковому”... Но вернёмся к Солженицыну.

“Просто человеки стали зеками” — это тогдашний взгляд Кожинлова на всю советскую историю, во многом сформировавшийся под впечатлением общения с Бахтиным. Повесть Солженицына пала на вполне подготовленную почву. И все заклинания на тему “не должно повториться” не вызывали у Кожинлова ни малейшего отклика. Тем более что он знал: может — и — повторяется. Причём уже в формах, которые не принимало при всевластии Сталина. Разгром подпольных студенческих кружков в МГУ в середине — конце 1950-х ещё можно было проассоциировать с пресловутым “1937-м”, но известия, в том или ином

виде доходившие до слуха о расстреле “сталинской” демонстрации в Тбилиси в 1956-м, и – самые свежие – о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске, вызывали в памяти уже прославленный во всех исторических сочинениях “красный террор”.

И ничего, кроме брезгливой усмешки, не могло вызвать у Вадима Валериановича опубликованное в “Правде” (! – С. К.) и тут же всеми зачитанное и процитированное, как проявление необыкновенной смелости стихотворение Евтушенко “Наследники Сталина”.

*Он был дальновиден.
В законах борьбы умудрён,
наследников многих на шаре земном он
оставил.
Мне чудится,
будто поставлен в гробу телефон.
Энверу Ходжа
сообщает свои указания Сталин.
Куда ещё тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не сдался.
Считает он смерть
поправимостью.
Мы вынесли
из Мавзолея
его.
Но как из наследников Сталина —
Сталина вынести?!*

Это жалкое подражание Маяковскому по своему интеллектуальному и художественному уровню по сути ничем не отличалось от восторгов того же творца десятилетней давности:

*Я знаю:
Вождю
бесконечно близки
мысли
народа нашего.
Я верю:
здесь расцветут цветы,
сады
наполнятся светом.
Ведь об этом
мечтаем
и я
и ты,
значит,
думает Сталин
об этом!*

Изменение “позиции” совершенно не изменило приспособленческой сути. Но и вокруг солженицынской повести клубились свои вихри.

Олег Михайлов рассказывал о реакции на неё многолетнего сидельца, автора “Колымских рассказов” (всерьёз собиравшегося напечатать их в советском издательстве) Варлама Шаламова: “Ну вот, ещё один лакировщик в нашей литературе объявился”. Ещё один многолетний сиделец – Юрий Домбровский – не принял солженицынского Ивана Денисовича Шухова: “... Шестёрка, сукин сын... потенциальный охранник и никакого восхваления недостоин. Крайне характерно, что отрицательными персонажами повести являемся мы, рассуждающие о “Броненосце Потёмкине”, а положительными – гнуснейшие

лагерные суки...” Такая реакция (отразившаяся в частном письме) парадоксальным образом смыкалась с реакцией коммунистических ортодоксов с их печатными страстными возгласами: “А где партия?! Где у Солженицына героико-коммунисты в лагерях?!” И это было ещё не всё. О своём впечатлении от солженицынской повести вспоминал через много лет “младший имлиец” из круга Кожинова Дмитрий Михайлович Урнов. Его рассказ заслуживает того, чтобы привести его в возможно более полном виде:

“Прекрасно помню тот вечер, когда на Пушкинской площади, неподалёку от редакции “Нового мира” мне встретилась наша... соученица..., уже имевшая доступ к редакционным тайнам, и с горящим взором она сообщила, что завтра в очередном номере появится новый Толстой или, может быть, Достоевский! На другой день, читая журнал, то есть повесть о жизни Ивана Денисовича, и не веря глазам своим, я решал для себя вопрос, на кого же из нас нашло затмение? Кто забыл, чему нас учили?... У кого из нас двоих за очевидную литературно-критическую ошибку в суждении следовало бы отнять диплом филолога, литературоведа?... Что было мне обещано в качестве “Мёртвого дома” или “Воскресения”, по моим (я думал, нашим общим) представлениям, не годилось в сравнение хотя бы с “Антоном Горемыкой”! По моим понятиям, из рук вон плохая вещь, психологически невыразительная, стилистически манерная, просто-напросто ёрническая: как можно так писать о таких вещах? Как можно, пережив так много? Это были мои вопросы. Мои, мои – не ваши!... Очередная нелитература, которую подают тебе, приговаривая: лопай, что дают! Я уж не говорю о некоторых критических отзывах по поводу “Ивана Денисовича”, тогда же появившихся, они были ещё хуже, слабее повести, они были высказаны в точности на таком уровне, чтобы повесть сравнительно выглядела шедевром”.

Я не знаю, делился ли тогда Урнов с Кожинным (они тесно общались) этими своими соображениями? Полагаю, что так думал не один Дмитрий Михайлович, но подобные претензии художественного порядка не имели шансов проникнуть на страницы нашей печати, а позже их подменили претензии идеологические... Как бы там ни было, если и состоялся подобный разговор между двумя приятелями, он наверняка принял форму ожесточённого спора. Кожиннов вдохновлялся тем, что его взгляд на Солженицына совпал с бахтинским, чему он получил письменное свидетельство: “Повесть Солженицына я прочитал с истинным наслаждением, – писал ему Бахтин. – Произведение очень значительное и лишённое фальши. Но мне трудно представить себе дальнейший путь Солженицына”... “Дальнейший путь Солженицына уже намечен, – отвечал Кожиннов, – две его небольшие повести печатаются в “Новом мире” № 1. Я их читал; они, по-моему, не менее значительны, чем “Один день...” Кстати, настоящее название “Матрёнина двора” – “Не стоит село без праведника”, а “На станции Кречетовка” – “На станции Кочетовка”. Замечательно, что обе вещи изображают совершенно реальных людей, события и места (всё можно найти на карте)”.

Сюжет “Кожиннов-Солженицын” имел в дальнейшем своё продолжение, даром, что личного контакта между ними так и не возникло. Литературовед (один из наиболее ценимых Кожинным) Владимир Фёдоров вспоминал, как Вадим Валерианович однажды показал ему письмо, полученное от Солженицына, написанное на тетрадном листе в линейку. “Это был ответ Солженицына на письмо... написанное под впечатлением повести “Один день Ивана Денисовича”. Автор письма благодарил за внимание к его творчеству, но вместе с тем выражал сомнение в искренности этого внимания и высказывал подозрение, что на самом деле В. Кожиннов стремится таким образом приобщиться к его славному имени”. Мне, к сожалению, не удалось найти этого документа в личном кожинновском архиве, и я не могу сверить точный текст с фёдоровским его пересказом. Остаётся лишь предположить, что Солженицын к моменту получения кожинновского письма (когда уже всерьёз обсуждалась его кандидатура на Ленинскую премию) начал уже “бронзоветь” настолько, что любое, даже доброжелательное, обращение к нему (разумеется, если не идёт речь о письмах бывших лагерников, на основе которых он воздвигал в это время свой “Архипелаг ГУЛаг”) воспринимал не иначе, как “приобщение” (или “примазывание”) к его славе.

Ближайшие три года Кожинов проводит в хлопотах по изданию бахтинских книг.

“Ваш “Рабле”, как Вы знаете, переведён в план редподготовки 1964 года. Официально это означает лишь задержку из-за превышения плана выпуска книг по литературоведению. Но я не хочу мириться с этой задержкой. Сейчас М. Б. Храпченко стал и. о. академика секретаря ОЛЯ. С ним легче вести деловые переговоры, чем с В. В. Виноградовым. Потому я решил передать Вашего “Рабле” в издательство АН СССР с помощью Храпченко”. . . Для облегчения сего действия Вадим Валерианович напечатал в “Литературной газете” благожелательную рецензию на книгу Храпченко “Лев Толстой как художник”, не имеющую самостоятельного литературного значения, но тут уже все средства были хороши.

В письме Кожинову, где Бахтин писал о своём “истинном наслаждении” от повести Солженицына, проскользнула тревожная фраза: написав, что в “Советском писателе” приступили к чтению рукописи книги “Проблемы поэтики Достоевского”, Михаил Михайлович добавил: “Но общая ситуация, кажется, резко изменится к худшему”.

Незадолго до этого состоялось знаменитое посещение Хрущёвым Манежа, закончившееся форменным скандалом и необузданной хрущёвской руганью по адресу художников-авангардистов. . . По сути, это был один из эпизодов многолетней внутрицеховой разборки, когда одна группа художников натравливала высшую власть на другую. Сей “налёт” состоялся 1 декабря, а через 4 дня в “Литературной газете” была опубликована передовая, посвящённая этому “историческому событию” под заголовком “Служить народу!”, статья Бориса Иогансона “Сила искусства” и замечательный в своём роде документ: письмо председателю Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР А. Н. Шелепину группы писателей, приветствующих восстановление “подлинно всенародного контроля, уничтоженного в период культа личности Сталина”: “В годы деятельности ЦКК-РКИ рядом с миллионами добровольных контролёров активно работали советские писатели. . . Мы считаем себя наследниками этой драгоценной традиции и готовы принять участие в работе Комитета”. В общем, во исполнение мечты Маяковского: “Явившись в ЦКК идущих светлых лет”, писатели готовы поднять “сто томов своих партийных книжек”. Подписали это обращение, в частности, Василий Аксёнов, Николай Асеев, Белла Ахмадулина, Александр Безыменский, Андрей Вознесенский, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Анатолий Гладилин. . . И никакого “разрыва поколений” между старыми и новыми революционерами, и никакого противоречия “отцов” и “детей”.

А 17 декабря в Доме приёмов на Ленинских горах состоялась встреча руководителей Коммунистической партии и Советского государства с представителями литературы и искусства, где Леонид Ильичёв заявил, что ни Луначарский, ни Ленин не были сторонниками лозунга “Пусть расцветают сто цветов”, и снова обрушился на уже обруганных художников, попутно “проутюжил” Александра Есенина-Вольпина (процитировав его впрямь графоманские стихи, пронизанные чёрной мизантропией) и Новеллу Матвееву. . . Хрущёв, восхвалив до небес Солженицына, упёрся в проблему “антисемитизма”, взбаламученную к этому времени в писательских кругах, и принялся в этой связи мягко урезонивать Евтушенко (уже напечатавшего свой “Бабий Яр”, связавший грандиозный шум, и прочитавшего уже на встрече строфу из него) и Эренбурга. А заодно произнёс слова, продиктованные старой памятью, но неожиданно оказавшиеся пророческими:

“Если бы этим людям (он имел в виду воинствующих “антисталинистов” и поборников плохо понимаемой “свободы”. — С. К.) дать власть и возможность, вы посмотрели бы, как они с вами поступили бы. Они бы вам показали “свободу” (Аплодисменты). Они сегодня за свободу потому, что их ничтожное меньшинство, но если бы они стали большинством, то они в бараний рог скрутили бы вас. Это была бы свобода в их понимании”.

Бахтин, привыкший к безвестности, с определённым трудом входил в своё новое положение публикующегося автора. А Кожинов торопил события, как только мог. Потому его и тревожило каждое “колебание” идеологической атмосферы — по сравнению с судьбой книг Бахтина, все стычки “либералов”

и “обскурантов”, “правых” и “левых” были для него, что называется, “боем бабочек”.

Каждое новое письмо Бахтину — словно сводки с “издательского фронта” попеременно с обстоятельствами своей жизни.

“27. II. 63.

Рад сообщить Вам, что сегодня пошёл в набор “Достоевский”. Это значит, что отредактированный текст был заново просмотрен и полностью одобрен редакцией. Я при сём присутствовал, замещая Сергея, который уехал отдохнуть недели на три под Москвой — в дом отдыха.

Теперь уже в марте—начале апреля ожидают (если не будет каких-либо неурядиц в типографии) корректуру книги.

1 марта в Гослитиздате будет редсовет, на котором утверждается “Рабле”. Вопрос о включении книги в план, в сущности, совершенно решён. Нет никаких сомнений, абсолютно (редсовет — только формальность). Поэтому я Вам пишу об этом.

У нас всё в порядке. Помним и любим Вас. Живём тихо и что-то пишем, и упрекнуть нас можно лишь в том, что излишне, пожалуй, много пьём. Но в Москве это как чума — кто ни появится — обязательно с “бутылкой”...

“5. VI. 63.

С моей книгой тоже пока всё в порядке, но она мне так опротивела, что я ей совсем-совсем не рад и думаю лишь, как “реабилитировать” себя другой, действительно хорошей книгой, которую я напишу. В связи со всеми обстоятельствами у меня не пошли в печать пять (!) уже набранных статей (в журналах и сборниках). Осталась только одна — самая неинтересная и к тому же ужасно изуродованная (начало вообще написал редактор). Я не имел достаточно мужества просто отказаться печатать её в таком виде, ибо влез в долги, живя на 100 рублей, которые получаю ежемесячно...

Сейчас пишу для главы о романе в нашей “Теории” раздел о “Преступлении и наказании”. Прочёл все “толкования” этого романа — от Страхова до Евнина, но ни одно мне не нравится — кроме маленькой характеристики Леонова, содержащейся в его замечательной статье о Пушкинской речи Достоевского (в цикле “Наши новые христиане”). Было бы ужасно интересно поговорить с Вами об этом романе. Может быть, что-нибудь напишете очень коротко?

Сейчас мне досталась на некоторое время замечательная вещь — рукопись готовящегося тома “Лит. наследства” с неопубликованными тетрадями и черновиками Достоевского. Это огромный материал, местами очень ценный... (Речь идёт о томе, который вышел лишь в 1971 году. — С. К.)

Думал — писать ли Вам о судьбе “Рабле”... Книга... перенесена в план редподготовки 1964 г. Я самым придирчивым образом изучал историю дела... Впрочем, окончательного решения ещё нет, и я надеюсь кое-что сделать. К тому же — нет худа без добра — пусть всё немного “разрядится”. Книга вначале “проходила” без сучка и задоринки и даже, благодаря поддержке ряда “авторитетных” лиц, “на ура”. Но, конечно, известные изменения смутили редакцию. Я уверен, что всё это временно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Вы не оставляли работы над рукописью (как я понял, у Вас есть в этом отношении совершенно свои, органические соображения)...

Редакцию смутили не только “известные изменения”. В самом издательстве вокруг книги Бахтина клубились ядовитые пары.

Поначалу всё складывалось весьма удачно. Как вспоминала редактор книги Сарра Лейбович, “... в январе 1963 года у нас в издательстве появился новый директор, В. А. Косолапов, и на первом же, так сказать, ознакомительном совещании в нашей редакции он всячески призывал нас перейти к новому стилю работы, — не дожидаясь планов и договоров, спущенных “сверху”, — проявлять собственную инициативу, самим предлагать новые серии, новых авторов, разыскивать их где угодно, вплоть до командировок “в глубинку”.

Не откладывая в долгий ящик, отбросив текущую, достаточно срочную работу, я стала, как и обычно, просматривать новую рукопись. Преодолевая длинноты, громоздкость аппарата и другие атрибуты диссертационного жанра, я всё более и более втягивалась в чтение и оторваться уже не могла.

И поняла: передо мною — ни на что из ранее читанного не похожее, грандиозное, внутренне слаженное “сооружение”; это был захватывающе интересный мир человеческой мысли, исследующей роман Рабле в свете масштабных историко-культурных проблем, глубоких этических и философско-эстетических категорий. Ничего подобного в современном литературоведении мне не попало. “Встреча” с таким автором — событие, дар судьбы, и упустить удачу просто недопустимо. Хотя, сказать откровенно, как раз не очень-то верилось в успех... Конечно, письмо во “Литературке”, но... Всё это — отнюдь не гарантии успеха. Уж очень своеобразная была книга, очень расходилась со всеми канонами и стандартами.

Главного редактора, А. И. Пузикова, на месте не оказалось. Пришлось обратиться к его заместителю — К. И. Бонецкому. В течение многих лет... он заведовал нашей редакцией, и с ним порой удавалось договориться в достаточно сложных ситуациях. Но в новом ранге, повышенный в чине, Бонецкий стал непробиваемо ортодоксален, чрезвычайно осторожен и в этой осторожности непреклонен. Вот и теперь на все мои доводы он ответил примерно так: “Выкинь ты, Саррища (мы были сокурсниками по Пединституту имени Ленина, а Бонецкий отличался любовью ко всяким прозвищам), эту идею из головы, я о диссертации Бахтина знаю, и не надо с ней связываться — в ней одна латынь да порнография. Эта книга не для широкого читателя, пусть ею займется издательство “Наука” — там люди учёные, они и разберутся, а нам такая книга не нужна”.

... Я сразу же направилась прямо к Косолапову, директору издательства. Ну, думаю, что скажет директор... Ведь сам он ещё недавно призывал привлекать новых авторов, к тому же — письмо с такими мощными подписями, такие отзывы... Но, с другой стороны, — мнение Бонецкого, Косолапову оно должно быть известно...

Однако, представьте, Валерия Алексеевича не пришлось уговаривать. Как-то очень, ну уж очень охотно, не раздумывая, он поддержал предложение редакции издать у нас “Рабле”. Тогда я не соотнесла это с тем фактом, что письмо во “Литературке” было помещено с одобрения того же Косолапова — тогда главного редактора этой газеты. Кому же теперь, как не ему, главе издательства, воплощать в жизнь то, к чему призывала его газета. Правда, теперь, уволенный из “Литературки” за опубликование в ней “Бабьего Яра” Евтушенко, он был осмотрительнее, да и времена, как я говорила уже, изменились в сторону идеологической жёсткости. Но ему, видимо, напомнили о том самом письме. Он, наверное, не отказывался, но медлил, тянул. Инициатива редакции послужила решающим толчком, и согласие директора было получено.

Во всяком случае, примерно с середины 1963 года перед бахтинской книгой открылась “зелёная улица”. С автором решили заключить договор, рукопись включили, минуя план редподготовки, прямо в текущий план выпуска... Так М. М. стал нашим автором, а я его редактором, поскольку мне, в соответствии с моей специальностью, обычно поручалась работа над книгами по истории зарубежной — и прежде всего французской — литературы...

25 сентября 1963 года Михаил Бахтин получил сигнальные экземпляры “Проблем поэтики Достоевского”. На следующий день он написал письмо Кожинным: “Дорогие Елена Владимировна и Вадим Валерианович!

Вчера получил экземпляры своей книги. До последнего момента мне как-то не верилось. Свершилось, в сущности, чудо. И совершили его Вы...

Сейчас я начинаю рассылать книгу... Сообщите мне, пожалуйста, адреса всех лиц, подписавших заявление (Виноградова, Федина, Храпченко, Рюрикова и др.), а также Палиевского, Карякина и все тех, кому, по Вашему мнению, следовало бы послать книгу.

С удовольствием вспоминаем наши малеевские и московские встречи, особенно последнюю в Вашем доме. Жаль только, что нам мало пришлось поговорить на теоретические и философские темы. Но это от нас никуда не уйдёт”.

“Радуюсь вместе с Вами, — отвечал ему Кожин, — я ведь тоже, честно говоря, не верил до последнего момента, что книга выйдет. Я Вас от всего сердца поздравляю.

Вместе с тем, это, конечно, самый первый шаг — ведь книга переиздана, — хотя я и прекрасно понимаю, что 4-я глава представляет собою, в сущности,

особую и невероятно ценную книгу. Но, так или иначе, дело теперь за Рабле.

У Вас, я знаю, есть иллюзия, что я “деловой” человек. Это глубокое заблуждение, что видно хотя бы по моей книге о романе, которая барахтается по редакциям уже более четырёх лет. Вы спрашиваете, как обстоит с ней дело, — честно говоря, даже не знаю. Всё хочу позвонить в редакцию, но не соберусь никак. . .”

Ещё через 10 дней в очередном письме Кожинов пишет Бахтину о первом редакторе книги, с которым считает необходимым разделить заслугу по её выходу:

“Очень благодарил Вас Л. А. Шубин. Вы, быть может, не представляете, как много он сделал для “проталкивания” книги. Он так воевал, что, в конце концов, его оставили от её редактирования и решили взять редактора со стороны (тут уже удалось “подсунуть” С. Г. (Бочарова. — С. К.), ибо в издательстве не знали, кто он, собственно, такой, — знали, что кандидат наук и работает с Эльсбергом. . .). Вообще, Лев Алексеевич — чудеснейший человек. Очень жаль, что Вам не удалось с ним ближе познакомиться. В частности, он более других чуток к религиозным проблемам (у Гачева это, по-моему, чисто рационалистический интерес)”.

В это время эпистолярное общение чередовалось с личным. Бахтин приезжал в Москву и, как он писал, гостил у Кожинова. Кожинов посещал Саранск и, как вспоминала Нина Куканова, читал спецкурс на филологическом факультете Саранского университета. “Наряду со студентами его посещали и преподаватели. Это был далеко не юноша, а, скорее, сложившийся учёный” . . .

10 лет спустя, уже в своей московской квартире (о переселении Бахтина в Москву и позднейших спекуляциях в связи с этим переселением ещё пойдёт речь) Бахтин в беседе с Виктором Дувакиным в связи со своей книгой о Достоевском вспомнил Кожинова.

“Бахтин. — Второе издание я делал, сидя в Саранске, да-да. Ко мне туда приезжали Кожинов, редактором моим был. . . Сергей Георгиевич Бочаров. Вот. . . Я был тогда ещё, собственно, “минусник”, никому не известен. Книжку эту забыли — “Достоевского”. . . Он всё это сделал. Ведь если бы не он. . . Я и не собирался. И “Рабле” у меня лежал в столе готовый, но я не думал его публиковать и считал, что это невозможно и так далее. А вот он явился — и всё сделал. . . Прошибал всё это! Прошибал, и гениально прошибал. . . И вообще, я-то его знаю хорошо уже, и достаточно хорошо — нет, это бесстрашный человек. . .”

Я намеренно опускаю здесь встречные реплики Дувакина — до них ещё дойдёт очередь. Напомню, что диалог этот состоялся в 1971 году, когда многие бывшие друзья и хорошие знакомые Кожинова стали воспринимать его не иначе, как лютого врага.

Что же касается Бахтина, то его слова о “бесстрашии” Кожинова были вызваны, думаю, не только воспоминанием о том, как его молодой друг пробивал книги через все “инстанции”. Видимо, всплыла в памяти и трагикомическая сцена, когда Бахтин уже отчаялся и решил не издавать “Творчество Франсуа Рабле”, и тогда Кожинов, приехавший к нему в Саранск в сопровождении Дмитрия Урнова, вдохновлённый Еленой Александровной (“Отнимите у него рукопись!”), буквально вырвал манускрипт из рук Бахтина. Вырвал, увёз в Москву, сдал в Гослитиздат — и не спускал руку с “пульса” до самого выхода книги в 1965 году.